

Инт. Россия - 1998 - НАША ГОСТИНАЯ

— Ирина Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вы человек счастливый?

— Думаю, да. Поскольку счастье внутри человека. Не вне. А вообще формул счастья множество. Мой муж, например, говорил: «Любимый дом, любимая женщина, любимая работа». Я была, например, безмерно счастлива, когда родила дочь. Врачи не разрешали иметь ребенка. По состоянию сердца. Но я пошла на риск, и Анечка родилась. В операционной. Здоровенькая, чудесная, с черным завитком на лобике... По-моему, одного этого для счастья достаточно. Но вообще-то, счастье — это осуществленность.

— И как писатель вы состоялись. Вашим именем названа планета.

— Думаю, от меня одна книга должна остаться. Но достойная. А что не врала — так ведь этого мало. Это ведь норма при нормальной-то жизни. При нормальной — я и «замес» бы в прозе могла делать глубже, круче. Могла обнаженнее быть, трагичней. В творчестве надо быть как без кожи. Где ни тронь — все больно. Но прежде инстинктивный страх окутывал нас, как болотный туман. Сковывал, как взгляд змеи мышку. Хотя, впрочем, в шестидесятых мы немного и в «оттепели» погрелись.

— Вы человек сильный?

— Скорее, энергичный, порою стихийный. Муж друэям говорил: «С Иришей моей не соскучишься». В молодости бывала отчаянной. Считала, что добро должно быть с кулаками. Открыта была, бесхитрозна. Часто вызывала огонь на себя. Но судьба берегла.

— А сейчас?

— Сейчас знаю — никаких «кулаков». Бог все управит. И у возраста свои преимуществы — мудрость.

— Вы человек верующий?..

— Достоевский хорошо сказал — «без веры русский человек — дрянь». Я — русская. И нельзя быть «дряню». Тем более, что мы с Юрой крещены с детства. Он в Уфе, я в Москве. А за два года до его смерти, когда он вплотную занялся работой над триптихом «Поле Куликово», мы стали глубже читать святоотеческую литературу, летописи, Библию. Понемногу воцерковлялись. Не всегда шло легко. Любое восхождение — большой труд.

Подружились с архимандритом Иннокентием, главой издательского отдела Московской Патриархии. В миру его звали Анатолий Иванович Просвирнин. Замечательный был человек, большой эрудит, смиренный, красивый. Нам его, видно, Бог послал. Он во многом определил сам ход нашей жизни. Скорректировал направление. Последние годы часто у нас бывал и буквально вел Юру за руку к последнему его порогу. Наблюдал, благословлял работу над триптихом. Юра опирался на два плеча — на мое и его. За две недели до кончины отец Иннокентий соборовал Юру. Привез в мастерскую, где мы тогда постоянно жили (поскольку Юра каждую минуту, когда «лучшело», тянулся к мольберту), трех монахов-келийников из Лавры. Один был старец Кирилл (Павлов). В прошлом герой войны, и кажется, тот самый знаменитый сержант, именем которого назван «дом Павлова» в Сталинграде... Помню, тогда подарила монахам с поклоном фамильные, четырехтомные «Четыре-Минеи», 1820 года издания...

Вскоре Юрочке, после такого мощного соборования, стало лучше. И он успел дописать триптих. Скончался Юра 1 сентября 1980 года, буквально с последним мазком. А 3 сентября отец Иннокентий отвел Юрочку. В мастерской. Ночью. Последним провожал его душу в иной, великий мир. Привез хор, две девушки в белых платочках, в руках ноты, псалмы, и два паренька. В нашей огромной, высокой мастерской, что на чердаке 17-го этажа, среди картин, холстов, подрамников зажгли свечи, много свечей. Язычки пламени, мерцаая, горели всюду: у гроба, обтянутого белым, на мольберте, на столах, подоконниках. Их живой теплый свет дрожал на бледном лице лежащего Юры. И я (сквозь слезы и неизбывность горя) почему-то запомнила, как поражала Юрина неподвижность, его, всегда такого подвижного, радостного, живого. Чудилось, вот-вот зазвучит привычно его звонкий, прекрасный голос: «Ирок!.. Брось, не горюй. Все уладится». Но только дивно пел хор, и по-ангельски, воспаряясь, звучали псалмы и молитвы. А над ними, нездешне голос отца Иннокентия. И герои Юрочкиных картин словно тоже провожали его в

П
Л
А
Н
Е
Т
А



Ирины РАКША

последний путь. Рядом с нами (я, дочка, Юрина сестра) стояли — преподобный Сергей Радонежский и князь Дмитрий Донской, святая Евдокия и белоголовый мальчик — Андрей Рублев. И еще князь Бреннок-Шукшин. Да и все русское войско было здесь под стягами и Спасом Нерукотворным. Посторонних не было...

— Архимандрит Иннокентий — настоятель Иосифо-Волоцкого монастыря?

— Да, позже он мученически скончался. Бандиты убили. Но он успел их простить... Так что, именно светлой памяти отец Иннокентий помог нам. Через него, как говорится, Господь, может быть, допустил нас к Себе. Помните, как Христос сказал? «Не вы Меня выбираете, но Я».

— Что вам нужно для счастья?

— Ну, в разные годы жизни разное. Когда от лейкоза умирал Юра, молила Бога забрать меня, а его оставить. Почла бы за счастье. Да и сейчас уверена, что отпущенным временем он распорядился бы лучше меня, больше бы успел. Ну а сейчас, например, для счастья мне нужен прожиточный минимум и одиночество для работы. (Прошли времена, когда рассказы писала на коленях в битковой электричке «Москва — Переделкино».) И пенсии в двадцать долларов на еду и бензин не хватает.

— Юра дарил вам подарки?

— Преподносил. Я научила его не совать, а преподносить. Со словами, красиво. А это — вещи разные... Я и сама обожаю делать подарки. Между прочим, дарить даже приятней, чем получать. Моя бабушка учила меня дарить вещи хорошие, чтобы их даже чуточку жалко было. Чтобы самой хотелось такое же получить... А вообще, к праздникам Юра, как правило, дарил мне свои картины. Готовил шутки, сюрпризы. Рисовал тайком, когда меня не было дома. В основном это были мои портреты: «Моя Ирина», «Флора», «Сон», «Август», «И было лето, и была юность». Шутил: «Самая дешевая натурщица — собственная жена. Платить не надо». А один этюд так и назвал: «Кодню рождения». Я — в Останкинском осенне-золотом шереметьевском парке. Очень сочная и нежная вещь.

— Вы легко человека распознаете, его суть?

— Легко. Могу даже рецепт дать. Люди определяются тем, как и что они вспоминают. Одни вспоминают хорошее

и хорошо. С улыбкой и благодарностью. Другие — злое и зло. Вот вам вся суть человека, как на ладони. И еще один тест есть — как к животным относятся. То есть — к слабоуму. Тоже безошибочный тест.

— Вы хотели бы родиться в другое время?

— Зачем?.. Ну, разве чтоб Пушкина увидеть?.. А так — нет, на все есть судьба. Значит, я тут зачем-то была нужна. В нашем, железобетонном веке. Может, даже эта беседа входит в понятие моей нужности. Помните великую строку? «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену». Лучше не скажешь. Кстати, я еще о встречах с Пастернаком написать не успела. Как, например, мы, студенты, я, Гена Айги, Миша Роштин, Рим Ахмедов, узнав о его травле (после «Живаго»), помчались в Переделкино и лезли к нему на дачу, через забор, по пояс в снегу, с букетиком промерзших хризантем, купленных у Киевского вокзала на студенческие гроши.

От ворот до дачи сугробы были нетронуты, высоки. Видно, дня три никто из дома на улицу не выходил. Перевалив через штакетник ворот и ухнув в подушки снега, мы пробирались к дому, утопая в снегу. Вдали забрехала собака на привязи, похожая на лайку. У дверей (мы поднялись вдоль поручней по деревянным ступенькам) на наш долгий стук и долгое нажатие на кнопку звонка — никто не появлялся. Но мы упрямо стояли. Наконец плохо обитую дверь открыла невзрачная, старая, строгая женщина. Сперва перепуганная, недоуменная. Оказалось — жена. Узнав, что мы юные литераторы, сразу заулыбалась, озабочилась, помолодела, приструнила собаку и впустила нас — промерзших, голодных и от стеснения чуть-чуть нахальных — в дом. Не до конца тогда еще понимавших — к кому мы пришли. Я, румяная от мороза, протянула цветы. Хозяйка была так тронута, что повлажнели ее глаза, и оттого, не сказав ни слова, она скорее ушла в дом, оставив нас раздеваться в передней. Видно, цветы ему понесла.

Он спустился со второго этажа, по скрипучей лестнице. Голос был хрипловатый, густой. Извинялся, что приболел, что в пижаме. Она была темно-зеленого цвета. И шарф замотан на шее. Почему-то запомнились его слова: «Да, да. Скоро пленум — меня будут вешать». Я не поняла, какой именно пленум. Союза писателей или компартии? И почему именно — вешать? Но переспрашивать не посмела. Потом он поил нас душистым кофе с печеньем. Жена принесла и ушла. И мы уселись за стол. Очень хотелось есть, и мы незаметно слопали все печенье. В комнате вкусно пахло настоящим горячим кофе и холодными хризантемами. Юный, маленький, очень талантливый Гена Айги, лохматый чувашский поэт, громко давил сахар в стакане и, размешивая, звенел на всю комнату серебряной ложечкой. По дороге сюда договорились — ничего Пастернаку не читать. Но Айги все же не выдержал. Встал и, бубня и картавя, держась за спинку стула, читал нараспев свои, знакомые нам стихи. (Потом мы за это его ругали: только время извел.) Позже и я, осмелев, чтоб развлечь приблудившего хозяина, бесстрашно сыграла на легендарном рояле «Рондо в турецком стиле» Моцарта. Единственное, что помнила наизусть. И Борис Леонидович, улыбаясь, великодушно терпел, лукавым взглядом наблюдая эту ораву. И еще — показывал нам на стенах, в тонких рамах, работы своего отца художника-графика Леонида Пастернака, дивные, знакомые мне иллюстрации к «Анне Карениной»...

Позже мы с Борисом Леонидовичем еще не раз встречались в Переделкино. И в 58-м, и в 59-м. При встречах он непременно целовал мне, юной студентке, руку. И всегда улыбался чуть лукаво, понимая мое смущение... Интересные были моменты... Храню его подарок мне на свадьбу — томик басен Лафонтена, из «Розовой библиотеки», с золотым обрезом. С его автографом. Кстати, на Новый год в Переделкино на даче Сельвинского (общезитие студентов Литинститута было неподдающему от дачи Пастернака) мы разыгрывали подарки с елки, подвешенные на ниточках. Сами же все и готовили. Кому — конфетка доставалась, кому — мандарин. А кому — листочек с автографом Пастернака. (Несколько таких листочков-автографов принесла нам от него к новогодней елке хорошенькая, светловолосая Ирина Емельянова, дочь Ивинской). Помню, Паруйр Севак получил, я, Галя Арбузова.